

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утружают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барышне глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько, — возразил лорд Генри, — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изошаряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посыпать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнец. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крыльышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дики. Помню твои

слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увшенному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она — либо рассказывает о них самое сокровенное, — либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отзывалась о Дориане Греем?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмурив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Гре. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страсть романтизма и все совершенство эллинизма.

Инженер выпал из разорвавшейся сетки и был унесен волной. Его собака тоже исчезла. Верный пес бросился на помощь своему хозяину.

— Вперед! — воскликнул Гедеон Спилет.

И все четверо — Спилет, Герберт, Пенкроф и Наб, забыв усталость, устремились на поиски.

Бедный Наб плакал от ярости и горя, сознавая, что потерял единственного любимого человека.

Между исчезновением Сайреса Смита и высадкой его друзей прошло не более двух минут. Можно было рассчитывать, что его успеют еще спасти.

— Будем искать его! — воскликнул Наб.

— Да, Наб, и мы его найдем, — сказал Гедеон Спилет.

— Живого?

— Да, живого.

— Умеет он плавать? — спросил Пенкроф.

— Конечно, — ответил Наб. — К тому же с ним Топ.

Моряк, слыша страшный рев океана, только покачивал головой. Инженер исчез у северной части берега, примерно в полумиле от того места, где сошли на землю его спутники. Значит, если он достиг ближайшей оконечности суши, его следовало искать не дальше чем в полумиле.

Было около шести часов. Сгустился туман, и стало очень темно. Потерпевшие крушение направились к северу по западному берегу земли, на которую случай выбросил их. Эта земля была им неведома, и они не могли даже приблизительно определить ее географическое положение. Они шли по песчаной, усеянной камнями почве, по-видимому, лишенной всякой растительности. Покрытая неровностями и кочками, земля изобиловала мелкими рытвинами, которые очень затрудняли ходьбу. Из этих впадин поминутно высекались большие неуклюжие птицы, плохо видные в темноте, и медленно разлетались в разные стороны. Другие, более проворные, вспархивали стаями и, точно облако, пролетали по небу. Пенкрофу казалось, что это чайки и поморники. Даже шум волн не мог заглушить пронзительных голосов этих птиц.

Время от времени Гедеон Спилет и его спутники останавливались и кричали, прислушиваясь, не раздастся ли ответный зов со стороны океана. Ведь если они находятся недалеко от того места, где инженер мог выйти на берег, то, не будучи даже в состоянии откликнуться, они услышат, наверное, лай Топа. Но никакого крика не было слышно сквозь шум волн и плеск прибоя. И маленький отряд снова двигался вперед, тщательно всматриваясь в каждый уголок побережья.

Прошагав минут двадцать, потерпевшие крушение внезапно увидели перед собой пенящиеся гребни волн. Твердая земля пропала. Гедеон Спилет и его спутники находились на оконечности острой, возвышающейся над океаном стрелки, о которую яростно бились огромные волны.

— Это скалистый мыс, — сказал Пенкроф. — Вернемся назад и будем держаться правой стороны. Тогда мы снова выйдем на материк.

— А вдруг он здесь? — сказал Наб, указывая на океан, покрытый белеющими во мраке барашками волн. — Крикнем еще раз!

И все четверо в один голос громко закричали. Но никто не ответил им. Выждав минуту, когда шум волн немного утих, они крикнули снова. Ответа не было.

Тогда они двинулись обратно, идя по противоположному склону утеса. Почва все еще была песчаная, усеянная камнями. Однако Пенкроф заметил, что берег становится круче, и решил, что утес связан длинной полоской земли с возвышенным побережьем, очертания которого смутно виднелись во мраке. В этой части берега было куда меньше птиц. Море билось не так бурно и беспокойно, и можно было заметить, что волнение в этом месте значительно слабее. Плеск волн был едва слышен. Очевидно, скалистый мыс с этой стороны имел форму полукруглой бухты, и его возвышающаяся оконечность преграждала путь волнам океана. Но придерживаться прежнего направления — значило идти к югу, то есть в сторону, противоположную той, где мог выйти на землю Сайрес Смит. Пройдя еще полторы мили, путники не увидели ни одного изгиба дороги, позволяющего повернуть на север. Однако должен же этот мыс, конец которого они обогнули, быть связанным с материком! Пенкроф и его товарищи, невзирая на усталость, мужественно продолжали двигаться вперед, каждую минуту рассчитывая дойти до поворота, ведущего к северу. Каково же было их разочарование, когда, пройдя около двух миль, они снова увидели перед собой море и оказались на довольно высоком мысе, покрытом скользкими скалами.

— Мы находимся на островке, — сказал Пенкроф — Мы прошли его из конца в конец.

Утверждение моряка было правильно. Воздухоплаватели были выброшены не на материк и даже не на остров, а на маленький островок протяжением в две мили, по-видимому, не особенно широкий.

Являлся ли этот бесплодный, усеянный камнями островок – пустынное убежище морских птиц – частью более значительного архипелага, этого нельзя было утверждать. Пассажиры воздушного шара, увидев из корзины сквозь туман полосу земли, не могли судить о том, насколько она обширна. Теперь же Пенкроф, который, как истый моряк, хорошо видел в темноте, смутно различал на западе очертания гористого берега. Царящий вокруг мрак не позволял определить, к какой системе островов – простой или сложной – принадлежит клочок земли, на котором находились Спилет и его спутники. Покинуть его было почти невозможно, так как он был окружен морем. Приходилось отложить поиски инженера до утра. К сожалению, ни одним звуком он не дал знать, где находится – Да, там была земля. А земля означала спасение, хотя бы ненадолго. Островок был отделен от берега проливом в полмили шириной, с чрезвычайно быстрым и шумным течением.

В это время один из потерпевших крушение, очевидно, внимая только голосу сердца, не посоветовавшись ни с кем из товарищей, бросился в воды пролива. Это был Наб. Ему не терпелось достигнуть берега и пройти по нему к северу. Никто не мог бы его удержать. Пенкроф позвал его, но напрасно. Гедеон Спилет собирался последовать за Набом.

Пенкроф, подойдя к нему, спросил:

– Вы намерены переплыть этот пролив?

– Да, – ответил Гедеон Спилет.

– Поверьте мне, с этим лучше подождать, – сказал моряк. – Наб и один сможет помочь своему хозяину. Если и мы поплынем по проливу, нас, пожалуй, унесет течением в открытый океан. Если я не ошибаюсь, это течение вызвано отливом. Смотрите, берег начинает выступать из воды. Потерпим немного, и, когда отлив кончится, мы, может быть, найдем брод.

– Вы правы, – ответил журналист. – Будем разлучаться как можно реже.

Между тем Наб плыл наискось, энергично борясь с течением. При каждом взмахе рук его черные плечи показывались над водой. Негра быстро относило в сторону, но он все же приближался к цели. На то, чтобы проплыть полмили, ему понадобилось больше тридцати минут, и он подплыл к берегу в нескольких тысячах футов от того места, против которого бросился в воду.

Наб вышел на сушу у подножия высокой гранитной стены и энергично отряхнулся; потом он быстро побежал и исчез за утесом, который выступал в море примерно против северной оконечности островка.

Товарищи Наба с тревогой наблюдали за смелым негром. Когда Наб скрылся из виду, они обратили взоры на землю, у которой им придется просить приюта. Осматривая ее, они подкрепились несколькими раковинами, лежавшими в песке. Это все же была пища, хотя и скудная.

Противоположный берег имел вид обширной бухты, южная часть которой заканчивалась острым выступом, лишенным всякой растительности и казавшимся совершенно пустынным. Этот выступ соединялся с берегом прихотливо изрезанной полоской земли и примыкал к высоким гранитным утесам. На северной стороне бухта, наоборот, расширялась; берег, более закругленный по очертаниям, тянулся с юго-запада на северо-восток и заканчивался продолговатым мысом. Расстояние между этими двумя крайними точками, на которые опиралась дуга бухты, составляло около восьми миль. В полумиле от берега был расположен островок, похожий на сильно увеличенный остов какого-то огромного китообразного. Поперечник его в самом широком месте не превышал четверти мили.

Побережье против островка было покрыто песком и усеяно черноватыми скалами, которые в эту минуту вследствие отлива постепенно выступали из воды. На втором плане виднелось нечто вроде гранитного вала высотой не менее чем в триста футов, отвесные склоны которого венчал причудливой формы гребень. Этот вал тянулся на расстоянии трех миль и неожиданно обрывался с правой стороны, заканчиваясь срезанной гранью, которая казалась отесанной руками человека. Слева, над мысом, эта стена разветвлялась на множество призматической формы отрогов. Состоявшая из утесов и осыпавшихся камней, она постепенно снижалась, соединяясь продолговатой грядой со скалами южной стрелки. На верхнем плато берега не росло ни единого деревца. Это было обнаженное плоскогорье, вроде того, что возвышается над Капштадтом на мысе Доброй Надежды, но меньшее по своим размерам. Так, по крайней мере, казалось с островка. Зато справа и сзади срезанной грани вала виднелось достаточно зелени. Без труда можно было различить смутные очертания высоких деревьев, сливавшихся в необозримые леса. Эти зеленые заросли радовали глаз, утомленный резкими очертаниями гранитного вала. Наконец на самом заднем плане, выше плато, в северо-западном направлении на расстоянии не меньше семи миль

ярко белела вершина, озаренная лучами солнца. Это была снежная шапка, украшавшая далекую гору.

Невозможно было ответить на вопрос, является ли эта земля островом или частью материка. Но геолог, увидев уродливые скалы, громоздившиеся с левой стороны, не колеблясь, приписал бы им вулканическое происхождение: они, несомненно, являлись продуктом работы подземных сил.

Гедеон Спилет, Пенкроф и Герберт пристально всматривались в этот берег. Там придется им прожить долгие годы, а быть может, и умереть, если их не снимет какой-нибудь проходящий корабль.

— Ну, Пенкроф, что ты скажешь? — спросил Герберт.

— Что скажу? — отвечал моряк. — В этом, как и во всем, есть хорошее и плохое. Увидим, что будет дальше. Но отлив, кажется, становится сильнее. Часа через три мы попробуем переправиться, а когда попадем на тот берег, то постараемся как-нибудь выпутаться и найти мистера Смита.

Пенкроф в своем предвидении не ошибся. Через три часа, при полном отливе, песчаное дно канала почти обнажилось. Островок отделял от берега лишь узкий ручей, который, наверное, нетрудно будет перейти.

Около десяти часов Гедеон Спилет и его товарищи, сняв с себя одежду, связали ее в узлы и, неся их на голове, вошли в ручей, глубина которого не превышала пяти футов. Герберт, для которого и это было много, плавал, как рыба, и прекрасно справился со своей задачей. Все трое без затруднений достигли противоположного берега. Там солнце их быстро обсушило, и, одевшись, они стали держать совет.

Прежде всего журналист условился с Пенкрофом, что тот будет ожидать его возвращения здесь же, и, не теряя ни минуты, быстро пошел по берегу — в ту сторону, куда направился Наб. Вскоре он исчез за поворотом дороги. Ему не терпелось узнать, нет ли новостей о Сайресе Смите.

Герберт хотел было последовать за ним.

— Не ходи, мой мальчик, — сказал Пенкроф. — Нам нужно устроить лагерь и посмотреть, возможно ли здесь найти какую-нибудь более основательную пищу, чем ракушки. Когда наши друзья вернутся, им надо будет подкрепить силы. Каждому — свое дело.

— Я готов, Пенкроф, — ответил Герберт.

— Ну вот и прекрасно, — ответил моряк, — дело пойдет на лад. Будем действовать по плану. Мы устали, замерзли и проголодались. Надо, значит, найти кров, огонь и пищу. В лесу есть дрова, в гнездах есть яйца. Не хватает только дома.

— Я поишу, нет ли в этих скалах пещеры, — сказал Герберт.

— В конце концов я, наверное, найду какую-нибудь дыру, куда нам можно будет спрятаться.

— Правильно, — сказал Пенкроф. — В дорогу, мой мальчик!

Они двинулись вдоль стены, по песчаному берегу, значительно обнажившемуся вследствие отлива. Но, вместо того чтобы идти к северу, они направились к югу. В нескольких сотнях шагов от того места, где они высадились, Пенкроф заметил узкую расщелину. По его мнению, она должна была служить выходом для реки или ручья. А потерпевшим крушение было важно иметь поблизости питьевую воду. К тому же было вполне возможно, что поток вынес Сайреса Смита в эту сторону.

Как уже сказано, стена имела более трехсот футов высоты, но это был сплошной массив, и даже у его подножия, до которого едва доставали волны, не было ни одного углубления, где можно было бы найти приют. Стена, совершенно отвесная, состояла из крепчайшего гранита, который никогда не точили воды моря. Над вершиной ее летало множество водяных птиц, главным образом, перепончатопалых, с узкими, продолговатыми и острыми клювами. Это были весьма крикливы существа, нисколько не напуганные присутствием человека, который, очевидно, впервые нарушил их одиночество. Среди этих птиц Пенкроф заметил нескольких фомок — вид поморников, которых иногда называют «морскими разбойниками», а также маленьких хищных чаек, гнездившихся в углублениях гранита. Один ружейный выстрел по этому скопищу птиц принес бы богатую добычу, но, чтобы выстрелить, необходимо ружье, а у Пенкрофа и Герberта его не было. Впрочем, фомки и чайки почти несъедобны, а их яйца имеют отвратительный вкус. Между тем Герберт, который свернул немного влево, вскоре увидел скалы, покрытые водорослями. Через несколько часов их должен был затопить прилив. На этих скалах, увитых скользкой морской травой, виднелось множество двустворчатых раковин, которыми не могли пренебречь проголодавшиеся люди. Герберт кликнул Пенкрофа, и тот быстро побежал.

— Э, да это съедобные ракушки! — воскликнул моряк. — Вот что заменит нам яйца.

— Это несъедобные ракушки, — ответил Герберт, внимательно осматривая прицепившихся к скале моллюсков, — это литодомы.

— А их едят? — спросил Пенкроф.

— Конечно.

— Ну, так будем есть литодом.

Моряк мог вполне положиться на Герберта: юноша был очень силен в естественной истории и с подлинной страстью любил эту науку. Отец Герберта поощрял его занятия и дал ему возможность прослушать лекции лучших бостонских профессоров, которые очень любили умного и прилежного мальчика. Знания Герберта как натуралиста были не раз использованы впоследствии, и первое их применение оказалось удачным.

Литодомы — продолговатые раковины, соединенные в гроздья и крепко пристающие к скалам. Они принадлежат к тому виду моллюсков-бурильщиков, которые просверливают отверстия в самых крепких камнях. Раковины литодом закруглены с обоих концов; этот признак отличает их от прочих съедобных ракушек.

Пенкроф с Гербертом основательно закусили литодомами, раскрывшими раковины навстречу солнцу. Они ели их, как едят устриц, и нашли, что у этих моллюсков очень острый вкус. Поэтому Пенкрофу и Герберту не пришлось жалеть об отсутствии у них соли или какой-либо другой приправы. Им удалось на время утолить голод, но зато их мучила жажда, которая еще усилилась от пищи, остро приправленной самой природой.

Надо было отыскать пресную воду, которой не могло не быть в этой прихотливо изборожденной местности. Пенкроф и Герберт наполнили карманы и носовые платки литодомами и двинулись дальше. Пройдя шагов двести, они достигли расщелины, которую, по правильному предположению Пенкрофа, до краев наполняла небольшая речка. Стена в этом месте как бы раздвинулась, уступая напору подземных сил. Речка в этом месте была шириной футов в сто; ее отвесные берега были с обеих сторон не шире двадцати футов. Русло потока пролегало между гранитными стенами, которые по мере удаления от устья постепенно снижались. Далее он резко сворачивал в сторону и скрывался в зарослях в полумиле расстояния.

— Вода здесь, топливо там, — сказал Пенкроф. — Не хватает только жилья.

Вода в речке была совершенно прозрачна. Пенкроф убедился, что теперь, то есть в те часы, когда до нее не доходит прилив, она пресная. Установив это важное обстоятельство, Герберт принялся искать какое-нибудь углубление, могущее послужить убежищем, но его поиски оказались тщетными. Стена повсюду была отвесная, гладкая и ровная.

У самого устья реки, несколько выше линии прилива, обвалившиеся скалы образовали грот, или, скорее, огромное отверстие в груде камней. Такие нагромождения часто образуются в местностях, изобилующих гранитом; обычно их называют «трубами».

Пенкроф и Герберт далеко углубились в усыпанные песком проходы среди скал. Они были достаточно освещены, так как лучи солнца проникали в промежутки между гранитными глыбами, которые только чудом сохраняли устойчивость и не падали. Вместе со светом врывался ветер — настоящий сквозняк, приносивший снаружи ледяной холод. Однако Пенкроф решил, что, если завалить часть этих проходов и заткнуть некоторые отверстия камнями и песком, «трубы» станут обитаемыми. По своей форме они напоминали типографский знак. Отделив верхнее кольцо этого знака, через которое проникал южный и западный ветер, удастся, без сомнения, использовать его нижнюю часть.

— Это как раз то, что нам нужно, — сказал Пенкроф. — Если бы когда-нибудь снова увидеть мистера Смита! Он уж сумел бы использовать этот лабиринт.

— Мы его увидим, Пенкроф! — вскричал Герберт. — И когда он вернется, то должен найти здесь удобное жилище. Оно будет довольно сносным, если нам удастся установить очаг в левом проходе и сохранить отверстие для выхода дыма.

— Это мы сумеем сделать, мой мальчик. Трубы, — так Пенкроф окончательно окрестил это временное жилище, — будут для нас подходящим жильем. Но сначала надо запастись топливом. Я думаю, дерево нам очень пригодится, чтобы забить отверстия, через которые дует такой дьявольский ветер.

Герберт и Пенкроф вышли из Труб и пошли вдоль левого берега речки. По ее быстрым водам плыли сухие сучья. Прилив, который уже начался, должен был оттеснить этот поток далеко назад. Пенкрофу пришло в голову, что силу прилива и отлива можно будет использовать для перевозки тяжестей.

Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательный пейзаж. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждое занимало не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом, вышиной в полстолба, где самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации.

я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище — как если бы гора двинулась перед ней — взвилась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели слуги, которые, схватив коня под уздцы, помогли его величеству сойти. Сойдя с лошади, он с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, за пределами длины приковывавших меня цепочек. Он приказал своим поварам и дворецким, стоявшим наготове, подать мне есть и пить, и те подкатили ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял; в двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в два или три глотка, а что касается вина, то я выпил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее; так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы крови вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и подошли к его особе, которую я хочу теперь описать. Ростом он почти на мой ноготь выше всех своих придворных [17] ; одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать почтительный страх. Черты лица его резкие и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, туловище, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная [18] . Он уже не первой молодости — ему двадцать восемь лет и девять месяцев, и семь из них он царствует, окруженный благополучием, и большей частью победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так чтобы мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня; кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки и потому не могу ошибиться в его описании. Одежда императора была очень скромная и простая, фасон — нечто среднее между азиатским и европейским, но на голове надет был легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на верхушке. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай если бы я разорвал цепь; шпага эта была длиною около трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени приятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место было похоже на разостланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Здесь же находились священники и юристы (как я заключил по их костюму), которым было приказано вступить со мною в разговор; я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хотя бы немного знаком: по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски и на лингва франка [19] , но все это не привело ни к чему. Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом — для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась проникнуть ко мне, насколько у ней хватало смелости; у некоторых достало даже бесстыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома; одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал схватить шестерых заслонщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик; я сгреб их всех в правую руку и пятерых положил в карман камзола; что же касается шестого, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их: ласково глядя на моего пленника, я разрезал связавшие его веревки и осторожно поставил на землю; он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по одному из кармана. И я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, о котором в очень выгодном для меня свете было доложено при дворе.

Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирили со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное расположение. Население постепенно привыкло ко мне и стало меньше меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своею ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнения канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения.

Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они смолоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие смерти или опалы (что случается часто), пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не упавши, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на тугу натянутом канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиною не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг Рельдресель, главный секретарь тайного совета, по моему мнению, — если только моя дружба к нему не ослепляет меня, — может занять в этом отношении второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве.

Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себеувечья. Но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает, иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения.

Кроме того, в особых случаях здесь устраивается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол три тонких шелковых нити — синюю, красную и зеленую, в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале его величества, где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя друг за другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря по тому, поднята палка или опущена; иногда один конец палки держит император, а другой — его первый министр, иногда же палку держит только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством и наиболее отличится в прыганье и ползанье, тот награждается синей нитью; красная дается второму по ловкости, а зеленая — третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса.

Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшн, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Всадники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак; это был поистине удивительный прыжок.

Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным образом. Я попросил достать несколько палок длиною в два фута и толщиной в обыкновенную трость; его величество приказал главному лесничему сделать соответствующие распоряжения, и на следующее утро семь лесников привезли требуемое на семи телегах, из которых каждая была запряжена восемью

лошадьми. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута; на высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно земле; затем на девяти кольях я натянул носовой платок туго, как барабан; четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двадцать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его величество одобрил мое предложение, и, когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры: пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступая, — словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. Хотя и с большим трудом, ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно; раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока, но я немедленно выручил обоих и, прикрыв одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях.

За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело, весьма странной формы, с широкими плоскими краями кругом, занимающими пространство, равное спальне его величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой; что это не какое-нибудь живое существо, как они первоначально опасались, ибо оно лежало на траве неподвижно, и некоторые из них несколько раз обошли его кругом; что, становясь на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которая оказалась плоской поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нему ногами; что они смиренno высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность Человека Горы; и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чём шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял его величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но в не блестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, зацепили за них крючками, крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал.

Спустя два или три дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом он приказал главнокомандующему (старому опытному военачальнику и моему большому покровителю) построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами — пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию по шестнадцати — с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Его величество отдал приказ, чтобы солдаты, под страхом смертной казни, вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша, что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх;

и сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление.

Я подал императору столько прощений и докладных записок о даровании мне свободы, что наконец его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений за исключением Скайреша Болголама, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болголам занимал пост гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако и его наконец убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Условия эти Скайреш Болголам доставил мне лично, в сопровождении двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами, заключавшемуся в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха.

Но, быть может, читателю любопытно будет составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу; поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательным образом.

Гольбасто момарен эвлем гердайлло шефинмоллиоллигу, могущественнейший император Лилиптии, отрада и ужас вселенной, коего владения, занимая пять тысяч блестрегов (около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара; монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головою касающийся солнца; при одном мановении которого трясутся колени у земных царей; приятный как весна, благодетельный как лето, обильный как осень и суровый как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения Человеку Горе следующие пункты, которые Человек Гора под торжественной присягой обязуется исполнять:

1. Человек Гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати.
2. Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах.
3. Названный Человек Гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях.
4. Во время прогулок по названным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег; он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия.
5. Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то Человек Гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и (если потребуется) доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству.
6. Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас.
7. Упомянутый Человек Гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий.
8. Упомянутый Человек Гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов.

Наконец, под торжественной присягой названный Человек Гора обязуется в точности соблюдать означенные условия, и тогда он, Человек Гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования.

Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно *salao*, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне.

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается.

Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему; мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их.

Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал:

— Прости меня.

— Que va! — ответил мальчик. — Такова уж наша мужская доля. Что поделаешь.

Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок.

Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом.

— Хочешь кофе? — спросил мальчик.

— Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе.

Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано.

— Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик; он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.

— Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу.

— И я, — сказал мальчик. — Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие.

— А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с пяти лет.

— Знаю, — сказал мальчик. — Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг.

Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы.

Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой — вот и все, что ему понадобится до вечера.

Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов.

Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.

— Желаю тебе удачи, старик.

— И тебе тоже.

Старик надел веревочные петли весел на колышки уключин и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла.

Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега; он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее

дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «великим колодцем», он видел, как светится в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых семьсот морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порою толпится множество каракатиц; ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб.

В темноте старику чувствовал приближение утра; загребая веслами, он слышал дрожащий звук – это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам – они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят, и он думал: «Птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птицы создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми, печальными голосами, – они слишком хрупки для него».

Мысленно он всегда звал море *la mar*, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море *el mar*, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге. Старику же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, – что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», – думал старику.

Он мурлы греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старику давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.

«Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал, – подумал старику. – Сегодня я попытаю счастья там, где ходят стаи бонито и альбакоре. Вдруг там плавает и большая рыба?»

Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно поплыл по течению. Один из живцов находился на глубине сорока морских саженей, другой ушел вниз на семьдесят пять, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на сто и сто двадцать пять саженей. Живцы висели головою вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашият, сам же крючок – его изгиб и острие – были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуя гирлянду на стальном полукружье крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек.

Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждая леса толщиной с большой карандаш была закинута на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде, и была подвязана к двум запасным моткам лесы по сорок саженей в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было опустить больше чем на триста саженей.

Теперь старику наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы леса уходила в воду прямо и нанюю глубину. Стало уже совсем светло, вот-вот должно было взойти солнце.

Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки; они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче и вода отразила его сияние, а когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старику греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою они оказывались на глубине в шестьдесят саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на сто.

«Я же, – подумал стариик, – всегда закидываю свои счасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Солнце поднималось уже два часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только три лодки; отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега.

«Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света, – думал стариик. – Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами. А вечером солнце светит куда сильнее. Но по утрам оно причиняет мне боль».

В это самое время он заметил птицу-фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами.

– Почуяла добычу, – сказал стариик вслух. – Не просто кружит.

Стариик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя стариик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы.

Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и стариик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью.

– Макрель, – громко произнес стариик. – Крупная золотая макрель.

Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Стариик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой.

Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно, погнавшись за летучей рыбой. Стариик видел, как вода слегка вздымаилась, – это золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперевес с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду.

«Там, видно, большая стая макрели, – подумал стариик. – Они плывут поодаль друг от друга, и у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупная для фрегата и движется слишком быстро».

Стариик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня, – подумал стариик. – Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба? Ведь должна же она где-нибудь плыть».

Облака над землей возвышались теперь, как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда стариик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого студенистого пузыря – португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца.

– Ах ты сука! – сказал стариик.

Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и влачащиеся в воде щупальца; они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его не мог причинить им вреда. Другое дело людям: когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней, склизкие и лиловатые, пока стариик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича.

Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря, и старику любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалий, черепахи приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалий целиком, вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалий; он любил и сам ступить по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва.

Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым биссам, прихотливым в любовных делах и поедающим с закрытыми глазами португальских физалий.

Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старику жалел их, даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиною в целую лодку и весом в тонну.

Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животное убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, — думал старику, — такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и октябре, когда пойдет настоящему большая рыба.

Каждый день старику выпивал также по чашке жира из акульей печеньки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз.

Старику поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем.

— Нашел рыбу, — сказал он вслух.

Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь, не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старику вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море.

Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой.

«Если они не поплынут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старику, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду добела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность.

— Птица — верный помощник рыбаку, — сказал старику.

В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток; старику бросил весла и, крепко ухватив конец бечевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт.

Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно литая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного, подвижного хвоста. Старику из жалости убил его ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнул ногой в тень под кормовой настил.

— Альбакоре, — сказал он вслух. — Из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем фунтов десять, не меньше.

Старику уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собою вслух. Прежде, оставшись один, он пел; он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверно, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбача с мальчиком, они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старику сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух — ведь они никому не могли быть в тягость.

С самого утра друзья отправились получать винтовки. Они были новенькие, с темными поблескивающими стволами и гладкими прикладами, покрытыми коричневым лаком, сквозь который были видны кольца – жилы деревьев, пошедших на производство оружия.

– Янек, запомни номер своей винтовки. Чтоб ночью, если разбудят, мог его назвать. Ты, к примеру, можешь забыть, как твою дивчину зовут, а этот номер обязан помнить.

Елень посмотрел на своего младшего товарища и тут же замолчал; он вспомнил, что уже три недели, как Лидка уехала из бригады на курсы радиотелеграфисток. Прощаясь, она обещала Янеку писать. Елень знал, что она не пишет. Он бы сразу заметил, если бы письмо пришло. Везде: на учениях, в очереди у кухни, на нарах в землянке – они с Янеком были вместе с рассвета до ночи и с ночи до следующего утра. Спали, укрываясь двумя одеялами. В общем, Елень не мог не знать, что Лидка не пишет и что Янек не забывает о ней и все чаще задумывается по вечерам.

Неделю назад они получили форму. Сначала пошли в баню, там оставили свою старую гражданскую одежду. Затем их выпускали через другие двери по одному в чем мать родила, а там начальник вещевого склада выдавал новое обмундирование. Янеку посчастливилось: в кармане гимнастерки он нашел небольшой, в полстраницы, листок, вырванный из тетради. Неизвестная женщина, которая шила форму, написала на нем четыре слова: «Польскому солдату на счастье». И больше ничего, только эти четыре слова.

Они пытались представить, какие у нее волосы, темные или светлые; какая она, молодая или, может быть, в матери им годится. Ни подписи, ни адреса на листке не было. Янек опечалился: получил письмо, но без обратного адреса, а на адрес, который он специально записал Лидке в ее записную книжку, письмо все не приходило.

Ему, конечно, больше хотелось получить Лидкино письмо, но он устыдился сказать об этом вслух: ведь он бы обидел ту, которая, работая на фабрике по десяти, а то и по двенадцати часов, проводив брата или сына на фронт, нашла время послать листок с пожеланием счастья не известному ей польскому солдату.

Начальник склада подобрал им обмундирование как раз такое, какое нужно: для Еленя – попроще в плечах, а для Коса – поуже. Правда, голенища у сапог, которые получил Янек, были довольно широкими. За три пачки махорки сапожник сделал их по ноге.

В тот день, когда получали оружие, после завтрака не было никаких занятий. Около десяти часов было объявлено построение, затем все промаршировали к поляне. На ней лежал снег, пушистый, белый, какой выпадает только ночью. День выдался на диво теплый. Офицеры выстраивали подходившие подразделения, так что получался один общий строй в форме подковы. Солдаты впервые увидели, как их много прибыло за это время. В двух шеренгах собралось более пятисот парней – целый танковый полк. Тихо переговариваясь друг с другом, все ждали.

И вдруг оказалось, что капрал Лободзкий, повар, с которым Елень и Кос столкнулись в первый же день, стоит тут же, впереди них.

– Выпустили вас, пан капрал?

Лободзкий бросил на них взгляд и ничего не ответил. Тогда Елень опустил на его плечо свою тяжелую руку, и тот обернулся, заморгал.

– Чего еще?

– Как же это вас отпустили? – переспросил Густлик, не снимая руки с плеча капрала.

Повар покраснел, но тут же овладел собой и спокойно ответил:

– Я обещал генералу...

– А не обманешь?

– Не тебе слово давал.

– Но, капрал! – сказал Густлик, снимая с плеча капрала руку. По тону, каким произнес эти два слова Елень, трудно было понять, что в них звучало: предостережение или доверие.

– Я бы не выпустил его, – шепнул Янек.

Елень наклонился к нему и так же тихо сказал:

– Нужно верить. С человеком всякое в жизни случается. Может, его кто обкрадывал, и он теперь... А если бы и мне не поверили? А ведь верят.

Офицеры выступили перед шеренгой и, стоя вполоборота к строю подразделений, подали команду:

– Смирно! На пле-чо! На кра-ул!

С той стороны, куда подкова строя была обращена вогнутой стороной, подошел генерал. Он спокойным шагом двигался вдоль зеленых, неподвижно застывших рот, внимательно вглядываясь в лица. Затем останавливался, брал под козырек и здоровался:

– Здравствуйте, ребята!

– Здравия желаем, гражданин генерал! – хором отвечала рота.

Когда генерал проходил мимо Еленя и Коса, обоим показалось, что он узнал их и словно тень улыбки пробежала по его лицу. Слова приветствия звучали глушше, удалялись вместе с командиром бригады к другому флангу подковы. Густлик и Янек видели, как генерал возвращается с фланга. Вот он вышел на середину, встал перед строем по стойке «смирно» и низким, сильным голосом подал команду:

– Оружие... к но-ге!.. К присяге!

Глухо стукнули сброшенные с плеча винтовки. Солдаты сняли шапки, подняли вверх два пальца правой руки.

– Присягаю земле польской и народу польскому... – выделяя каждое слово, отчетливо произнес генерал и сделал паузу.

Все повторили хором:

– Присягаю земле польской и народу польскому...

Подождали, когда командир произнесет следующие слова присяги, и повторяли дальше:

– ...честно выполнять обязанности солдата в лагере, в походе, в бою, всегда и везде... строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять приказы командиров...

Над шеренгами в ноябрьском небе клубился легкий пар.

– Присягаю на верность своему союзнику, Советскому Союзу, который дал мне в руки оружие для борьбы с общим врагом, присягаю на верность братской Красной Армии...

Высоко в небе, с южной стороны, появился едва заметный, похожий на серебряное коромысло, самолет. До слуха долетело ровное, высокое, похожее на осиное, гудение мотора. На таком удалении нельзя было увидеть, чей это самолет, но все знали, что на крыльях у него красные звезды, что он патрулирует в морозной голубизне над землей, на которой они стояли.

– Клянусь быть преданным Знамени моей бригады и лозунгу отцов наших, на нем начертанном: «За Вашу свободу и нашу!» [7](#) Церемония принятия присяги окончилась, но командир не подавал команды расходиться, и все стояли, словно прислушиваясь к наступившей тишине и надеясь, что издалека, быть может, от самой Вислы, придет эхо. С Оки дул ветер, срываая снежную пыль с веток сосен.

Никто их не спрашивал, сдержат ли они клятву. Может быть, потому, что ответ предстояло держать не словом, а ратным делом.

День проходил торжественно, празднично. Занятий никаких не было. Перед обедом всем выдали в жестяных кружках по сто граммов водки. Янек хотел попробовать, какой у нее вкус, но Елень придержал его за руку:

– Погоди, парень. Когда будут давать молоко, я тебе свое отдам, а это тебе ни к чему. Я за твое здоровье выпью.

После обеда почти все отправились на футбольный матч, который, как гласила афиша, должен был состояться на спортивной площадке корпуса между командами пехотной дивизии имени Генрика Домбровского и артиллерийской бригады имени Юзефа Бема. А некоторые, пользуясь заташьем, писали в землянках письма.

Янек и Густлик, которым писать было некому, а вместе с ними и Шарик отправились прогуляться к Оке. Шарику тоже нужно было отдохнуть, потому что он все утро сидел в землянке, привязанный на шнурке за ошейник. Ошейник был новый, из белой кожи, украшенный металлическими заклепками из гвоздей. Его сшил тот же сапожник, который суживал Янеку голенища сапог. За эту работу Янек и Густлик отдали ему еще три пачки махорки, которой им совсем не было жалко, потому что оба не курили, однако получали ее наравне со всеми.

Они вышли на пологий заснеженный берег. Шарик ошелепо носился по берегу, кувыркался в снегу, а они смотрели на серую воду, еще свободную ото льда, но уже схваченную тонкой коркой у берегов. Об этой реке в одной песенке пелось: «Течет, течет Ока, как Висла, широка, как Висла, глубока».

Наверное, обоим одновременно пришли на память эти слова, потому что Янек произнес вслух:

– Висла шире, намного шире. Разве что только один рукав считать.

– Э, не скажи, – возразил Елень. – От моего дома до Вислы будет не дальше, чем вон до той дороги. Я целое лето ходил в Кузню и всегда перебирался на другой берег но камням, потому что через мост было дальше. Конечно, весной или после дождей она разливается, но и то такая широкая не бывает.

Каждый помнил свою Вислу: один – широкую, другой – узкую, но все же правда была в этой песенке. Может быть, эта правда – сосны, может, песок, скрытый теперь снегом, или высокий берег, размытый течением на той стороне. А может, для прибывших сюда солдат в шапках с орлом сама земля постаралась походить на польскую и напомнить им родину.

– Вот мы и стали танкистами после присяги.

– Солдатами – да, а танкистами... Когда же нам дадут эти танки?

Шарик, резвившийся в снегу, вдруг замер неподвижно, взъерошил шерсть и навострил уши.

– Кого ты там учゅял?

Пес тявкнул коротко, но с места не двинулся.

– Да погоди ты,тише. – Елень пригнулся, прислонив к уху ладонь.

Сначала они ощутили докатившееся издалека легкое дрожание земли, которое не исчезало, а все приближалось, усиливалось. И вот уже хорошо слышен гул, сопровождаемый отчетливым звонким лязгом металла. Оба зашагали от реки, поднялись на пригорок. Шарик шел позади настороженный, медленно переставляя лапы.

Грохот становился все сильнее, приближаясь со стороны леса, через который шла дорога к лагерю. Янек и Густлик вдруг заметили, как между деревьями промелькнул овальной формы, подавшийся вперед какой-то непонятный силуэт, и тут же на поле выскочил танк, скрытый с боков фонтанами грязи и снега. За ним – второй, третий, пятый. Они шли с короткими интервалами друг за другом, ревя моторами, похожие на слонов, устремившихся в атаку с вытянутыми вперед хоботами.

– Танки...

– Танки!

Янек и Густлик, высказав вслух эту «оригинальную» мысль, сорвались с места и побежали напрямик, обгоняемые Шариком, в сторону лагеря. Мокрый снег прилипал к сапогам, сдерживая бег, так что они сильно запыхались, прежде чем пересекли поле. Остановились, перевели дух и быстро зашагали, увидев издалека, как от застывшей в неподвижности колонны отделился человек, подошел к генералу и отдал ему рапорт, а затем повернулся и флагжками подал сигнал стоящим на дороге машинам.

Танки снова взревели моторами и двинулись теперь уже медленно; как послушные животные, ползли они между деревьями, разворачивались на месте и останавливались в ровной шеренге, один возле другого.

Когда Янек и Густлик подошли поближе, последний танк пристроился к остальным и выключил мотор. Запахло металлом, маслом, гарью и землей, перемешанной со снегом и превратившейся в грязь. Везде у машин стояли люди в темно-синих комбинезонах, надетых поверх ватников и перетянутых кожаными ремнями.

– Вот это да! – восхищенно произнес Янек.

– Сила! – ответил ему Густлик.

Шарик, который в жизни ничего подобного не видел, стоял в нескольких шагах позади них, спрятавшись на всякий случай за сосну. Вздыбив шерсть на спине, оннюхал воздух своим чутким черным носом. Кос и Елень подошли к ближайшей машине, внимательно стали осматривать ее, дотрагиваясь руками до брони.

– Осторожно, а то сломаешь.

Из-за танка вышел стройный смуглолицый мужчина с непокрытой светловолосой кудрявой головой. В руке он держал черный шлем танкиста. Под комбинезоном, расстегнутым сверху, они увидели советскую офицерскую форму.

– Вместе будем служить, товариш? – спросил Густлик. – Или вы только танки пригнали?

– Пригнали. Если удастся, доведем до самого Берлина. Такой приказ. Я, когда вышел из госпиталя, хотел вернуться в свою часть, а мне приказывают: «Вы, лейтенант Василий Семенов, будете союзников учить».

Лейтенант неожиданно весело и звонко рассмеялся. Потом протянул руку, предлагая знакомиться.

Называя свои имена, они с удивлением заметили, что у лейтенанта один глаз голубого цвета, а другой черный как смола.

– Ну что ж, буду вас учить, пока не научитесь лучше меня с ними обращаться.

Внутри машины что-то стукнуло, заскрипело, и через передний люк танка стал выбираться механик. Сначала они увидели его голову, затем чумазое лицо и наконец плечи. В то же

мгновение Шарик весело гавкнул, подбежал к механику и, опершись передними лапами о броню, лизнул танкиста в лицо.

— Что за порядки, черт побери! Только нос высунул, а тут собаки сразу целоваться лезут. У нас в Грузии...

— Григорий! — закричал Янек.

Танкист, наполовину уже вылезший из люка, замер, разглядывая Кося.

— Да, я Григорий Саакашвили. А ты?..

— Собака тебя узнала, помнит, как ты ей сахар давал. А меня не узнаешь?

— Янек! Товарищ лейтенант, я его знаю. Это ж мой друг. Мы еще с ним дрались, здорово дрались, пока не сообразили, что война общая — и его, и моя.

— Гора с горой не сходятся, а человек... — резюмировал лейтенант и, снова весело рассмеявшись, добавил: — Но я ничего не понимаю.

— Я тоже ничего, — согласился с ним Елень.

Янек в нескольких словах объяснил, в чем дело, и Саакашвили подтвердил сказанное Янеком, а потом подробно и красочно рассказал, как его взяли в армию, направили на завод учиться водить и ремонтировать танки, как был выпущен такой замечательный танк, что все сказали: «От Камчатки до Тбилиси никто так здорово не водит танк. Пусть наш Григорий едет на этом танке к полякам и покажет все, что умеет».

— Я с тобой, Григорий, в своем экипаже буду. Хочешь?

— И я с вами, — добавил Елень.

— А меня, командира танка, что же не спрашиваете? — вмешался лейтенант. — Не знаю, подойдете вы или нет. Надо еще показать, что вы умеете. Саакашвили, как он вам уже сам рассказал, водитель первого класса. Покажи-ка им, Григорий, что ты можешь.

— С гвоздем?

Лейтенант кивнул.

Механик бросился к машине. Минуту спустя он через открытый люк подал Семенову огромный заряженный гвоздь в полпальца толщиной и с ладонь длиной. Лейтенант взял гвоздь. Провожаемый удивленными взглядами Еленя и Кося, он подошел к ближайшей сосне и воткнул гвоздь острием в кору.

— Отойдем-ка немного в сторону, — предложил он своим новым знакомым, затем повернулся к танку и крикнул: — Готово! Не забудь башню повернуть.

С грохотом закрылся люк. С минуту было тихо, затем взвизгнул стартер и заработал мотор. Башня, послушная невидимой руке, легко повернулась и замерла. Ствол пушки смотрел назад. Рокот мотора немного усилился, гусеницы дрогнули, и танк, набирая скорость, двинулся прямо на дерево.

— Сломает! — крикнул Янек.

Однако не сломал. В полуเมตรе от сосны танк притормозил, с разгона стукнул лобовой броней по гвоздю и всей тридцатitonной массой вогнал его в ствол, как в масло. Затем качнулся и задним ходом осторожно отошел на свое место, равняясь по остальным.

Сосна еще дрожала, сбрасывая с себя пластины снега и бурье иглы, когда они втроем подошли поближе и увидели, что кора совсем не содрана, а ржавая шляпка гвоздя выступает на пять миллиметров от поверхности ствола.

— Ну и как? — спросил лейтенант.

Григорий открыл люк, быстро выскоцил и подбежал к ним.

— В тигра нужно так стрелять, чтобы шкуру не попортить. Так и на танке ездить надо, — хвастливо заявил он, весь сияя.

— Тонкая работа! Вот что значит старый вояка, — с уважением подтвердил Елень.

— Григорий старый вояка? Да он и на фронте не был. Еще года не прошло, как форму носит, — засмеялся Семенов.

— А вы, товарищ лейтенант, разве от рождения танкист? — спросил Янек.

— От рождения мы все одинаковые — сыновья у матери с отцом. Я никогда не был кадровым военным. Пока война не началась. Я... — Он замолчал и снова рассмеялся своим заразительным звонким смехом, сощурив разноцветные глаза. — Посмотрите-ка на небо, на облако... Вон на то высокое, такое белое, как в молоке выкупанное, солнцем насквозь просвещенное. Знаете, как оно называется? Цирростратус. А еще вам могу сказать о нем, что через день, самое большое через два, оно принесет нам перемену погоды и снег. Видите теперь, какой из меня танкист?

В пять часов утра, как всегда, пробило подъем – молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два – на зоне, один – внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки – выносить.

Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему – до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, поднести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку – тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное – если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина – старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

– Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму <Кум – по-лагерному – оперуполномоченный, – прим. автора> ходит стучать.

Насчет кума – это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженье их – на чужой крови.

Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось – то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро.

Но утро пришло своим чередом.

Да и где тут угреешься – на окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку – здоровый барак! – паутинка белая. Иней.

Шухов не вставал. Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается, инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди вынеси, не пролья! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот – и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир – в штабной барак, к нарядчикам.

Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, – Шухов вспомнил: сегодня судьба решается – хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцбытгородок». А Соцбытгородок тот – поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать – чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет – ни конурки. И костра не разведешь – чем топить? Вкалывай на совесть – одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.

Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти коснуться, от работы на денек освободиться? Ну прямо все тело разнимает.

И еще – кто из надзирателей сегодня дежурит?

Дежурит – вспомнил: Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь – прямо страшно, а узнали его – из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху – сосед Шухова баптист Алешка, а внизу – Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.

Старики дневальные, вынеся обе параши, забранились, кому идти за кипятком. Бралились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул:

– Эй, фитили! – и запустил в них валенком. – Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.

В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:

– Василь Федорыч! В продстоле передернули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?

Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.

А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала – или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сё.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

– Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!

И Шухов решился – идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней настройкой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

– Ще – восемьсот пятьдесят четыре! – прочел Татарин с белой латки на спине черного бушлата. – Троє суток кондея с выводом!

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопяных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал.

– За что, гражданин начальник? – придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу – это еще полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер – это когда без вывода.

– По подъему не встал? Пошли в комендатуру, – пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу – переждать Татарина на дворе.

Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил – не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два – на груди один и один на спине), выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татарином.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал: ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоем.

Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора были по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали эки по своим делам – кто в уборную, кто в каптерку, иной – на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть.

А Татарин в своей старой шинели с замуслеными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплата вокруг БУРа *– барак усиленного режима* – каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокой подхваченный, висел на столбе обындевевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу же – в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону, – дневального по штабному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обживвшись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и кума, обслуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

– Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залеживаться.

Закон здесь был простой: кончиши – уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскоря забыл их под подушкой) пошел к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ – планово-производственную часть, – столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр. Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!... не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрюпло сказал со столба:

– Двадцать семь с половиной, хреновина.

И, еще доглядев для верности, спрыгнул.

– Да он неправильный, всегда брешет, – сказал кто-то. – Разве правильный в зоне повесят?

Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла колом. Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

– Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! – отвлекся один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил – с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели – житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок – чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навылет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёг, солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! – ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

– Ты! гад! потише! – спохватился один, подбирай ноги на стул.

– Рис? Рис по другой норме идет, с рисом ты не равняй!

– Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

– Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то...

– Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов расправился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он

доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило, истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявенье от того времени и осталось.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомню, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

— Да на хрена его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты леноночко протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда.

— Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху.

А иначе б давно все подохли, дело известное.

Шухов протор доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, — и наискось, мимо бани, мимо темного охолодавшего здания клуба, наддал к столовой.

Надо было еще и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий — одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня — случай такой дивный — толпа не гостила, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликавшись через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, еще ложку не окунули, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали.

А русские — и какой рукой креститься, забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе — перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохряствают на полу.

А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоше Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть пониже.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

— Уж застыло все. Я за тебя есть хотел, думал — ты в кондее.

И — не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукуатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал ее в песке из алюминиевого провода, на ней и наколка стояла: «Усть-Ижма, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке — и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть ее так же медленно, внимчиво. Уж тут хоть крыша гори — спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависела — какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку — так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котел секут.